



Ф О Р У М

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
НАШ САЙТ: denlit.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

(начало на стр.1)

И уж тем более не виноваты его жена, дети, врач, дружки и прочие те, которые находились под домашним арестом и ожидали своей участи. И так и будет рваться бедная мысль между двумя очевидностями. И не героя это мысль, а автора, автора. ...И так страница за страницей, нарочито без точки (Пруст был обзавидовался!). Ну, и ещё немного, чтобы убедиться, что автор, автор это остановиться не может: "...все меняется, всё, революция, доктор, но не социальная, а гораздо более важная, антропологическая, конец истории, то, что вчера казалось и было жизнью, сегодня стало предметом археологии... и не нужно копать землю этими смешными лопатами, не нужно смахивать пыль времен этими смешными кисточками, всё под ногами, всё рядом, заходи в любой дом и бери; вы скажете, что это похоже на грабёж, а я вам скажу, что нет, неправда ваша, отныне преступлением станет излишняя щепетильность, старомодное, архаичное, чужеродное этическое отношение к этим кускам ещё живой, ещё тёплой жизни...."

Но это Минаев ведь отчасти и за своих товарищей сказал про "преступление" этического отношения к истории и про то, что нечего жалеть всю эту уходящую эпоху, потому что зато "перед учёными открывается просторная, ясная сияющая перспектива изучения" этого уходящего мира. И вон сколько матушка-история нажила материала, чтобы "смотреть на просвет и комментировать".

Вот разве что не комментировать, а реконструировать, чтобы заново пересмотреть связи жизни и найти место разрыва этой связи. И у нас уже в Премии мы видели эту живую "археологию" у Водолазкина и Яхиной, Каттишонк и Радецкий. И у неустояющего преследовать прошлое Юрия Буйды в представленной два года назад "Синей крови" и в сегодняшнем "Цейлоне" (не смущайтесь названием – русский провинциальный мечтатель привёз с Цейлона вполне русское желание, чтобы и у нас было так, да родной климат быстро его поправил и Цейлон сожжён, а хозяин повешен, а уж основное действие потом – на развалинах). Для давнего читателя Буйды довольно обронить страничку без имени, он тотчас узнает автора: ну вот, проверьте. "Мы похоронили его на семейном участке рядом с прадедом Ильёй, крепостным крестьянином, рядом с дедом Никитой, военным инженером, отцом Трофимом, известным революционером, рядом с родным дядей Тимофеем, известным контрреволюционером, сыновьями полковниками Михаилом и Сергеем, рядом с правнуком Ильёй и правнучкой Сашкой, рядом с женой Анной и обеими матерями – Елизаветой и Евгенией...."

Вот так – "обеими матерями"!... Две матери и могли родить родных братьев, бывших в детстве алтарниками одного храма, один из которых – революционер, расстрелял другого – контрреволюционера, потому что оба они принадлежали "к вымершей породе людей, которые питались огнём и кровью, низвергали богов (алтарники, – В.К) и правили истерией, пуская её бешеных коней вскачь". К старости революционер догадывается, что "идеи долго не живут. Они меняются и умирают, а кровь – она всегда кровь". И захочет похоронить расстрелянного брата по-человечески, чтобы его кости не мешались с собаками. Не сам, конечно, догадается – он и стариком не жалеет, что отдал приказ расстрелять брата, потому что "революция выше крови! Несть пред ней ни эллина, ни иудея, ни брата, ни отца" (вон алтарник-то каким боком выходит, – В.К), а взадуманным другим стариком с похожей да не теряющей ума судьбой. Но в родном КГБ революционеру будет сказано: "Вот вы представьте, что мы разрешим вам захоронить брата. Об этом сразу все узнают ... и что? Все начнут требовать прав для своих мертвецов – и здесь, у нас, и в Сибири, на Урале, и в Поволжье, Прибалтике, и на Украине, и на Кавказе, и в Средней Азии... подумайте страшно... вся страна всколыхнётся от края до края... это ж новая Гражданская война..."

А? Ведь мы только сегодня начинаем так глядеть на вчерашнюю историю и почти не хотим досматривать её – от усталости ли, от опасения ли, что эти угли лучше не ворошить, а то и от сознания, что те, там, в ожесточении мира были чище нас. Как вон герои княги Леонида Юзефовича "Зимняя дорога" два высоких и чистых солдата и поэт, противостоящие друг другу и губящие своих солдат и себя Пепеляев (правая рука Колчака) и анархист Строд, пытающиеся и в аду, в грязи, вшах, обморожении, тоске и ежедневной гибели сохранить душевную чистоту, потому что оба отвечают перед таинственным "народом", уверенные, каждый по-своему, в его земной правде, которой надо только дать проявиться и служить ей до конца, чтобы не было больше зла и неправды.

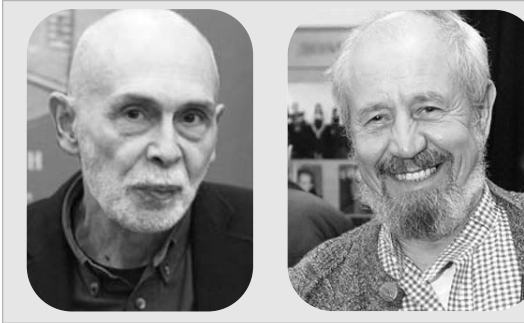
Простите, это я не ушёл от Буйды, а только сквозь его правду сразу увидел и другую. Не исторические это вопросы, не повод к литера-

туре, а матушка-улица, жизнь на дворе. Немудрено, что у Буйды сын революционера в свой час узнает недолговечность других правд, берущихся с бою, когда в Москву войдут танки Кантемировской дивизии, и продолжатель отцовской правды поймёт, что в такое время нельзя "отсиживаться в деревне". "Впервые в истории русский человек остался без внутренней опоры, вообще без всякой опоры, идеи и страха, но поначалу это вызвало не растерянность, не отчаяние, а злую радость (куда денешь старые дрожжи? – В.К.): наконец-то начальство получило по рогам, наконец-то взяла не ихняя, а наша, и при этом не важно, что это за наша такая была, чем она отличалась от ихней!...

Прогулки с Пушкиным

(Как у Минаева, "всё это наконец кончилось..." – В.К.) Наконец-то Россия сорвалась и понеслась, понеслась в дивное и ужасающее русское "куда-то"... Понеслась всё с той же вековой мечтой "о прободении жизни, о прорыве на другую изнаночную её сторону. Туда, где цветёт и пылает правда истории", да вот только "у истории нет другой стороны, а есть только эта, наша..."

Это было бы неисходно, это топтание и по-



вторение, если бы автор за своих героев не понял из опыта их и своей жизни в открывшемся ему на минуту "прободении жизни", что в "милосердном равнодушии мира он не раб и не господин, не палач и не жертва, но часть его – любимая часть его" и мы "никогда не станем одним целым, но всё живое, всё настоящее и не нуждается ни в имени, ни в завершении, в точке..."

Только такое знание непередаваемо. Оно наживается каждым в одиночку и не освобождает от страдания. И вот, будто через запятуя, будто заглянув в рукопись Буйды, пишет своих "Людей августа" Сергей Лебедев из другого поколения (в 91-м ему было только десять лет), для которого уже не только Буйда, а и Сергей Шаргунов – одинаково не доискавшиеся правды отцы, которые, как отец героя его романа, "кажется, верили, что нужно собрать разбитое зеркало, восстановить семейную биографию и из прошлого придёт помощь, которая устроит нашу сегодняшнюю жизнь".

Герой читает тайком писанную бабушкой, бывшим редактором Политиздата, дамошнюю историю рода (наверно, для него и писаную, потому что бабушка завещает ему эту рукопись на последнем пороге), и читает, как домогается правды, преследуя даже и саму грамматику как противника, заматающего следы. Но и читает любяще и осторожно, волнуемый тайной дома и рода, без нынешних высокочерных осуждений из безопасного далёка, а только чтобы разгадать, понять минувшее для своего сердца и своей молодой правды, без которой жизнь случайна и стыдна: как это жить механически, когда где-то есть правда? И не знает покоя, гонимый по стране в лагера Казахстана, на Кавказ, чтобы узнать, кем же был его дед, вычеркнутый бабушкой из текста, словно его и не было, а не узнав этого не поймёшь и тайну домашних и исторических разрывов. И говорит, говорит об этих разрывах с друзьями, да и чуть не с каждым встречным, потому что, как каждый из нас знает, что не выговорить боль, так и помереть можно, а высказать, так глядишь, и воскреснешь. "Я начал говорить, соединяя собственный опыт и чужие истории, о себе, которого ещё не было... и увидел свои путешествия, как часть общих для страны поисков, метаний, исторических конвульсий, судорог выбора..."

Это уж теперь навсегда так в наших оглядках на историю. Как там у пушкинского Пимена: "Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу". Не знаю, как с минувшей судьбой земли, а вот уж нас нынешние "потомки православных" будут ведать во всей тонкости. Слишком беспокойная оказалась судьба, чтобы следовать совету старого летописца "в часы свободные от подвигов духовных, описывая, не мудрствуя лукаво..." – пока с собой разберёшься до "подвигов-то духовных" может и не дойти. "Мощь потусторонних проклятий движет нас путями рока (то и для него волхвы всё идут за звездой, – В.К.) и мы должны быть

осторожны, чтобы не стать его слепыми орудиями. Могила на краю мира (не дедова ли?) на мгновение показалась мне центом мира, осью событий, вокруг которой вращаются наши жизни, хотя мы думали, что мы чисты, ведь мы дети нового времени и нет в нас советского наследства".

В центре, центре мира дедовы могилы и "советское" уже из генетики не вынешь, хоть изирионизуйся. Но прежним мировоззрением эти разрывы не соединились. Как наш брат, старик, ни сопротивляется и ни тянет внуков к себе, а они понимают свою правду иначе. Кажется, они погибли вместе с той родиной, взорвали себя с ней, чтобы очиститься, начать что-то иное, че-



му у них ещё и имени нет. Не зря Лебедев кончает книгу словом "прощай" (деду, бабушке, "исторической графомании", которая возмущала бабушку, когда она видела, что на Пресне снова стояли в 93-м, как в 905-м, но без той правды). Проститься простился, а куда выходит, чему говорить "здравствуй" не знает.

После такой горечи будет уже неловко читать "расходные материалы" (так определил жанр своего "Калейдоскопа" Сергей Кузнецов)



с его общим припевом, что "революция – это когда умные приходят к глупым и бедным, чтобы объявить им, что пора переменить жизнь. И говорят об этом, пока всех глупых и бедных не перебьют. Потом бегут в другое место, чтобы начать всё заново". Написано броско, блестяще, независимо (хотите читайте, хотите нет мне всё равно; я свободен, свободен от всех, а вы – рабы и ничтожества, если не видите эту "гигантскую паутину идеологии, сводящую с ума"). Да и отчего не быть независимым: "Наш мир распадается на осколки. Сны и явь, пьяный бред и лихорадочный экстаз, провалы забвения, тоска – всё это приносит изумительную лёгкость". А только эта "изумительная лёгкость" соответственно и вознаграждается читателем – откроешь на любой странице: ослепительно, пропасть ума, наблюдательности, иронии, а закроешь и из памяти вон. Это не про тебя – этот щёголовый узор пустых стекляшек калейдоскопа, пытающийся убедить тебя, что это единственная история, которую мы заслужили.

Слава Богу – не единственная. При таком вооружённом и безопасном чтении только скорее понимаешь, что "пришедший и остановившийся", уверенный, что ему ведомо начала и концы истории, что она не более, чем "паутина идеологии", погибнет, а идущий спасётся. В дороге, как под "аустерлицким небом", слышнее настоящее потаённое движение времени. Лучшие говорят "прощай" и не страшно, что они не говорят "здравствуй". Они слушают тонущий в разговорах безмолвный ход истории и надеются за водопадом слов расслышать тайну молчания. Они – в дороге. И не из пункта А в пункт Б. Пункт А уничтожен направленным взрывом и торопливо (так прычат следы преступления) "зачищен" сначала журналистикой, а там и боевой, яркой, как "цветные революции", прозой 90-х, а "пункт Б" не определён и не тропится определяться. Нет, слава Богу, лучшая проза в самой дорогой из дорог – в дороге Слова, которая, если идти без страха и с открытым сердцем, ни то что приведёт в этот пункт Б, а ещё и начертит его географию и заложит фундамент его духовного здания.

Ещё в прошлом году я сетовал, что слова расстаются со своими значениями, теряют плоть, выветриваясь до оболочек. И пишут-то все хорошо, но словно прычутся за словарём, переписывают время, обманывая себя и прельщая читателя щегольством покроя и расцветки ткани. И сегодня ещё не без щегольства, и форма ещё в драматических отношениях с содержанием, но слово уже перевешивает в борьбе за смыслы.

Тут лучше смотреть женскую прозу (заодно уж впаду в пророчество – скоро она возьмёт числом мужскую – весною заглянув в лингвистик-т к концу занятий, а из аудиторий-то одни девочки, чуть разбавленные ребятами) – в этой прозе "покорой" и "расцветка" виднее. Вот, скажем "Живые картины" Полины Барсковой,

предваряя которые Кирилл Кобрин говорит, что это "самая нежная и точная проза на русском языке", которую он читал за последние годы. "Будто домой вернулся". Это уж прямо мне с моим вековым припевом "домой, домой!". Грустно, конечно, что тут примешивается лоскуток невольной иронии, потому что живёт-то Полина в Штатах. Но подлинно: какая роскошь словаря, какая бездна ума; подлинно: "слова вдавлены в слова" – такая плотность – и в моём чтении, кажется первый случай, когда форма насмерть борется с содержанием и эта схватка так жива и сио-



от плиты к кресту и от звёздочки к булыжнику. Под клямами сими покоились советские и анти-советские знаменитости, которым врач пропи-сал бодрые балтийские ветры и мелкий песок дюн, режущий глаза. И вот наконец – он. Рядом со своей мамой. Фрондёр и ленивец рядом с упрямым тружеником плёчкой, которой иногда удавалось выжужжать из себя прозу абсолютной горестной чистоты. Вдвоём эти знаменитые мать и сын могли считаться идеальной пёсью, аллегорией ленинградской литературы: недовыраженной, недопрочитанной, изъевшей себя компромиссами, в конце концов – неотраженной. У меня с собой были припасенные в дорогу останки санаторного завтрака – сырник и яблоко. Я села рядом с надгробием на припёчке. Ощущение, что пришёл, добрался. Что тебя дожидались – без тебя не сажались за стол, посматривали в окно и на часы".

И не у неё одной всё слышнее, что их дождались, поглядывая в окно и на часы. И они все до недавнего часа и не думали о том, что их ждут, – сами по себе, свобода! И говорили и тогда много, но слушали будто только себя, а теперь вот не могут наговориться, потому что других услышали и от них загорелись. Как говорят у коллеги Барсковой по питерской литературе Анны Бердичевской в её воспоминательном романе "Крук": "Гению что-то дадено. Что-то он может такое, чего никто другой. Даже другой гений. Вот Чанов, он таким образом говорит, что всё сразу в тебя садится, как будто для каждого слова в тебе уже ямка, как в грунте вырыта... И ты уже готов принять в себя корешки слов, дать им расти и в конце концов понять ВСЁ до конца". Вот-вот: будто ямка для каждого слова и вот-вот мы что-то поймём. Ну, может не ВСЁ, как подчеркивает герой, но самое нужное.

Тогда ведь традиция-то найденная – не редкие на Руси наследники "трактирных мудрецов" Достоевского, пытавшиеся "вопрос разрешить". Разве что вопросы стали безопасны, но оттого не менее насущны: как построить смысловое пространство России, вернуть слову потерянную за годы своеволия, выдаваемого за свободу, плоть реальности. А тем самым вернуть и саму реальность, которая тоже выучилась прятаться за слова. И я для себя пока не могу понять или это просто привык, сам уже втянулся в эту игру (почитай-ка столько-то, поневоле землю из виду потеряешь!) или действительно те давние лучшие учительные тени, до времени заслоняемые бойким, а то и наговатым литературным юнцом, не зря ждали к обеду, чтобы по старинке сесть вместе и быть семьей и домом.

Государство всё ещё никак не наберётся мудрости, достоинства и покоя, а слово уже торит ему дорогу, потому что лучше помнит, что оно было у Бога и было Бог, и у него больше исторического опыта служения человеку "во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей Родины..."

О, этих библиотечных детей, рождённых по книжным шкапам, было больше. И не то, что не уступят, а может и обойдут помнутых мною в тонкости. Да только дело не в тонкости. Ильдар Абузьяров начнёт свою книгу "Не о любви" эпиграфами из Сартра, Дерриды, Гадамера, как неподъёмные долговые обязательства на себя возьмёт. И "выплатит"! Да только всё так в пределах этого интеллектуального банка и останется – на улицу не выйдет. А Владимир Кравченко уже и само название возьмёт из Алдайка "Не повораживай головы" и так населит книгу, что не продохнешь, поставив на наши шестидесятичные полки "весь самиздат, ардировские книжки Набокова, Замيات "Лица", Бунин "Окаянные дни", бесцельные "Белитбердыевы" Андрей Платонов "Котлован", перепечатанный на своей пишмашинке, и "Архипелаг ГУЛАГ" – на чужой, добитой и выброшенной на мусор, чтобы в случае бемца оставался шанс отвертеться..."

Прямо фотография поколения, обрадоваться бы и пуститься в воспоминания. Отчего же сердце холодно? Да верно оттого, отчего Онегин у Пушкина задрёл полку "траурной тафтин", когда дошёл до романов, *"в которых отразился век/и современный человек/изображён довольно верно/о его безразличной душе/и, себялюбивой и сухой,/мечтатель преданный безмерно/о его озлобленном умом/и кляпцем в действии пустом"*.

И родня вроде книгам Лебедева и Мызины, Барсковой и Бердичевской, а только те в слове осмотнительнее – уже наобманывались его декоративной стороной и теперь протирают каждое слово и на свет глядят прежде, чем в предложение поставить, чтобы не опустить лица перед стариками, платившими за слово жизнью и смертью, дождавшимися их для общего дела, измеряемого "высотой неба, глубиной земли и длиной и шириной вселенной" (вспомним ещё раз преподобного Андрея Критского).

А дай мне волю, я бы и тему языка забыл и только перебирал кощевые сокровища чтения. И радовался бы роману Дмитрия Иванова "Где ночуют боги" с его чудной свободой, словом и не пишет, а весело наговаривает на магнитофон бесценную и остроумную историю о креативном создателе полужителного образа Сочи перед Олимпиадой, так что Макаревич только и может сказать на обложке о таком чтении "Остроумно. Драйвово. Зло". А вывернет-то Иванов в такую сторону, до которой, верно, торопливый Макаревич и не дочитал: герой потеряет свою креативную память, чтобы воскресить в себе обыкновенного человека, простого как горы и небо. И написана эта последняя часть одной любовью без заботы о том, как мы это примем, – только бы самому герою прожить в этом новом свете с нежностью, игрою, любовью и светом.

А, может, и вообще остановился бы на одной книге и прочитал её вслух каждому читателю от первой до последней странички (я говорю о "Гранатовом острове" Владимира Эйслера), пока мы ни забыли бы с себе, времени, литературе, а только жили бы день за днём, пока, словно очнувшись, ни поняли бы, что слово – только зеркало жизни, и полно и живо, только пока жива Жизнь в её яркой единственности, и до неё надо только дотануться. И как всё тут просто – тайга, люди, жизнь, смерть. И даже если окликнешь при чтении Олега Кузавева или Джека Лондона, Юрия Рытхуя или Германа Мелвилла, то окликнешь не как литературу, а как ветер, быт, тяжесть жизни без посредничества церкви, философии, теории. Убийства тут не детективы, смерти не литературны, молитва единственна – прямо из крика и боли. И опять вспомнишь из праистории нашей литературы, что её дело сделать так, чтобы читатель забыл слово, а только страдал, любил, погибал, воскресал, и тогда ты можешь зватьсь Творцом, потому что прибавил жизни плоти и дали, ночи и дню, умножил чудо единственности человека на земле и подтвердил высокую правду, сказанную в одной из книг наших соискателей, что Бог сотворил только рай и рай этот – чудо нашей земной жизни, а грехопадение – это неверие в свет жизни, в который надо только осознать своё предстояние перед Богом, Который не впереди, а в тебе и всегда...

"Прочитал всё это строго, /противоречий очень много,/ но их исправлять не хочу...". И я не хочу, потому что разве переписишь день – он уже будет другой со своим светом и своей правдой. А нынешний обнадёживает. Русское слово приходит в себя, не приносившаяся к новой реальности, а обживая и определяя её лично, само становясь плотью и делом жизни. И слово это негромко, но уверенно, как старинное русское "ничего!", с которым мы выходили и из более сложных периодов истории.

Да и Александр Сергеев с Львом Николаичем заплутать не дадут.

Колпаж: Леонид Юзефович, Владимир Эйслер, Борис Минаев, Александр Григоренко, Сухбат Афлатуни, Наринэ Абгарян

(начало на стр.1)

Военный передел рынков сбыта и колоний, из-за чего сцепились Антанта с Германией и Австро-Венгрией? Но таковых у России, имеющей свой огромный внутренний рынок, не было... Защита Сербии? Но посмотрите на карту: как можно было войной помочь Сербии? Разве что в три-четыре недели разбить наголову отлично отлаженную военную машину немцев и австрийцев. Но шансов на это не было никаких, по многочисленным данным Русская армия была совершенно не готова к войне, имея лишь большую и скверно вооружённую солдатскую массу, что и сполна подтвердилось в ходе военных действий. А затяжная война положение Сербии лишь ухудшала; да и само провоцирование некоторых её политиками конфликта с Австро-Венгрией (убийство эрцгерцога) явно инспирировалось со стороны Антанты, чтобы втянуть в него русских...

Чего хватало у царской правительственной знати, так это имперского апломба и самодовольства – при критической нехватке как денежных средств, так и всякого рода и вида вооружений, патронов, снарядов и прочего, необходимого на войне, даже и хлеба: продаверству придумали отнюдь не красивые, а именно царские, попытались провести её в 1916 году, но не справились, как и со всем другим, что требовал Молох войны; солдаты в глине не окопав за неимением сапог латали плели, голодали и в еде, и в боеприпасах...

Главный же причиной краха Империи была полная потеря стратегического мышления у царя и всей военно-политической верхушки страны. Как можно было стать военным союзником Британии, вчерашней союзницы Японии и своего злейшего врага на протяжении нескольких веков, а с ней и Франции, памятной нам по 1812 и 1855 годам? Союз России и Германии – вот страшный сон англосаков, атлантизма вообще даже при нашем военном нейтралитете (что вполне актуально, кстати, и сейчас). Но при полной возможности установить этот весьма естественный союз с кузеном Вилли-Вильгельмом (договорившись на приемлемых условиях и по сербскому вопросу, на которые Германия с Австро-Венгрией несомненно бы пошли, чтобы не воевать на два фронта) и не лезть в эту совершенно противоположаную

нам и не дающую никаких выгод войну, а вернее бойню, царь и его окружение поступили ровным счётом наоборот... То, что это было в буквальном смысле "окружением", напичканным британской и французской агентурой влияния, сейчас хорошо известно, и не умственным способностям Николая Романова было этому про-

Толстые и монархизм

тивостоять.

Есть, правда, ещё одна идея-фикс царизма, сколь величаяая, столь и сумасбродная: Константинополь, Святая София, проливы... Когда через год войны, про Сербия уже и забыв, и народ, и даже генералитету стало ясно, что воюем ни за что, по сути, только чтобы угодить союзникам, поднялись серьёзные голоса за сепаратный мир с Германией, даже и мужик Распутин это понимал. И чтобы удержать Россию в этой бойне, причём как главную и совершенно дармовую силу, да ещё наиболее страдавшую по страшным военным и территориальным потерям, союзники поощали в случае общей победы осуществить эти мечтания русских кабинетных проектёров.

Вообще, повторюсь, история того, как втыкали царское правительство в войну, весьма таки смахивает на фарс, с недоумками и двурушниками петербургскими союзниками не церемонился. Автор лучшей, на мой взгляд, наиболее полной и объективной книги о том английский историк В.В. Готлиб ("Тайная дипломатия во время Первой мировой войны". Москва, 1960г.), весьма пропитливо разбираясь в хитросплетениях той политики, однажды в досаде за Россию не выдерживая серьёзного тона, роняет: "...это было очень похоже на то, как заманивают осла, подвешивая морковку перед его носом..."

То, что ни в каком, даже самом лучшем исходе войны Россия этого обещанного не получила бы, с излишним ясно из обнародованной давно переписки союзников, из мемуаров многих. Но даже если и представить это, то что бы делало царское правительство с полученным полутрамиллионным, крайне враждебным мусульманским Стамбулом – оккупированной столицей пусть упрямдленной, но ещё фактически существующей Османской империи? Это стало

бы "политическим геморроем" для России на ближайшие полвека и вряд ли с хорошими последствиями... А Британия с Францией уже через полгода, глядишь, заголосили бы о попранных правах турецкого народа и начали бы поставлять младотуркам оружие и кредиты на освободительную войну... Или кто-то ещё со-

мневается, что могло быть иначе? И тут же блокированы бы и пресловутые проливы, совсем слаб оставался Черноморский флот, чтобы удержать их.

... Как воевала повязанная сословными узами, с устаревшими военными инструментариями Русская армия, известно каждому, пожелаемому зная, научной и художественной литературы на эту тему написано с избытком. Но никакой массовый героизм воинов русских не мог преодолеть бездарности командования алексеевых и самсоновых, повторявших штабные "подвиги" курапаткиных и стесселей в Японскую, не мог пережить распада и разврата воевог-тыла, не мог отменить полнейшей бессмысленности этой бойни "за-ради батюшк-царя", пославшего вдобавок – немисмыслое дело! – 50 тысяч своих "солдатушек-детушек" под чужое командование во Францию и Грецию в качестве "пушечного мяса", которого союзникам никак не жаль было гнать на убой... А когда во всех других воюющих армиях ввели стальные каски, по статистике защищавшие голову от трёх четвертей ранений, и предложили уже готовые к производству русские образцы их ему на утверждение, этот невразумительный человек ответил отказом: они, сказал, нарушают брачный вид солдатущек... Вообще же, не найти в мировой истории аналога. Т а к о г о – за пределами всякой логики и здравого смысла – беспрецедентного "союзничества", участия в чужой, по сути, войне: воюя только и исключительно за интересы союзников, своих практически не имея, Россия (вместо того, чтобы отдавать им старые, довоенные внешние займы) залезала в новый огромный долг перед союзниками же, покупая за их кредиты у них же многие виды вооружения и прочего военного имущества. То есть вынужденная отдавать потом сам долг, ростовщические проценты на него,

да ещё принося огромный барыш союзническим производителям...

Граф А.А. Игнатьев, в качестве военного атташе всю войну занимавшийся такими закупками у союзников, во всех подробностях описал этот маразм царской, закабалённой мировыми ростовщиками верхушки в своей книге "Пятыдесять лет в строю". И не вынес этого "тягостного предательства интересов своей Родины, перешёл на сторону советской власти, сохранив на своём счете и передав ей часть тех кредитов.

Но Россия платила за эту чужую войну, за предательство прогнанных до дна царского бомонда не только своими "кровными", но и великой кровью: в мировой бойне погибло миллион шестсот семьдесят тысяч русских воинов и около одного миллиона гражданских, ранено 3,8 и поало в плен 3,3 миллиона человек, понесла вдобавок большие территориальные потери. Для сравнения, Франция потеряла убитыми 1,3 миллиона, а Британия 700 тысяч. То есть более половины человеческих жертв этой дикой войны понесла Бог знает за что именно наша страна – по соизволению человека, которому сейчас ретиво бьют поклоны всякие энтузиасты монархизма.

И как вообще судить о нём, ставшим, по сути, персонафицированным катастрофой для страны и народа, наказанием Божиим? Как учесть в таком деле все случайности рождения и престолонаследия? Этот несчастный маленький человек, предмет семейного препирательства между женой и матерью за влияние на него, изначально не был готов и не испытывал желания быть императором вся Руси – и, не найдя разумения в себе и решительности даже на здравый отказ, стал им... Довёл до ненависти к себе или равнодушия всю активную часть народа, без малейшей попытки сопротивления бросил державу на произвол судьбы – и его, никемного, тотчас все покинули, ни в чём ему давно не веря, не надеясь, даже и Церковь в числе первых отключилась, не говоря уж о чиновничестве; и ни одной, заметьте, реальной попытки освобождения царя не зафиксировано, ни на одном знамени Гражданской войны его имени не было – войны, жертвы которой опосредованно тоже ведь на его совести...

Красному графу Алексею Николаевичу, как и графу Игнатьеву, определить своё отношение к царизму было проще – "стоя на плечах"

предшественников и на себе испытыв весь кровавый срам финального царствования, в котором не хватало именно смыслового содержания, тех самых национальных интересов, целенаправленного развития, направленного на благо государства, а там, глядишь, и народа – раньше для народа, без государственного благоустройства, не получится...

Что случилось, однако, то случилось. Устроители Февральской 1917 года революции являлись, в сущности, пресловутой "пятой колонной" союзников, как и большая часть царского окружения. Алчные до власти, но не умеющие и не желающие распорядиться ею в настоящих национальных интересах страны, они вконец усугубили её катастрофическое положение, объявив "войну до победного конца". Британский кузен и союзник Георг V отказался дать убежище семье свергнутого родственника, хотя всяким революционерам из России в этом отказе никогда не было. Очень жаль детей Романовых, доктора Боткина и троих слуг. Из 150-тысячного офицерского корпуса Империи, по некоторым данным, около половины служили в Красной Армии и 35-40 тысяч в Белой Гвардии. Уже 15 августа 1918 года госдепартамент США заявил о прекращении существования России как государства и высадил на Русском Севере и во Владивостоке свои войска, как это сделали и британцы, французы, немцы, японцы, турки и прочие, прочие. Нет сомнения в том, что без этой многосторонней и многофакторной интервенции гражданская война закончилась бы гораздо раньше, с меньшими потерями и разрушениями. Большевики всё же сумели спасти Россию от развала и запланированного – бессрочного, судя по всему, – расчленения на оккупационные зоны интервентов. Предполагать, сколько "стран СНГ" возникло бы уже тогда на просторах бывшей Империи, не берусь... Планы политического Запада в отношении нас со времён Александра Невского мало в чём изменились.

Но как вернуть к элементарному здравому смыслу, к способности объективно осмысливать прошлое нынешних нео-монархистов, весьма рьяных почитателей, всевозможных "ревнителей" последнего царя, среди которых немало и политиканских конъюнктурщиков, дельцов, и просто мошенников? Этого не знает никто.

Пётр КРАСНОВ